

И. А. ИЛЬИН

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ. О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу?

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения: глаза бегают по буквам, “из букв вечно выходит какое-нибудь слово” (Гоголь) и всякое слово что-нибудь да “значит”; слова и их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то — “подержанное”, расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется “чтением”. Механизм без духа. Безответственная забава. “Невинное” развлечение. А на самом деле — культура верхоглядства и поток пошлости.

Такого “чтения” ни один писатель себе не желает. Таких “читателей” мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал,— надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит — что-то значительное о чем-то важном и драгоценном. И вот он начал отыскивать верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго: годами, иногда — всю жизнь; не расстается с нею ни днем, ни ночью; отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы; “болеет” ее темой и “исцеляется” писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и “точности” (по слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И наконец произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть — легковесно капризному, может быть — враждебно придирчивому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою “наедине”.

И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из

них добыть сам читатель. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за него не сделает этого никто: все будет его “чтение”, и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Надо пережить страсть — страстным чувством; надо переживать драму и трагедию живою волею; в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, вострепетать своею нежностью, взглянуть во все глубины и дали; а великая идея может потребовать не более и не менее как всего человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажечь этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими, и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода художественное ясновидение, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние “пространства” души, созерцать нематериальное, отождествляться с неизвестными или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира.

Читать — значит искать и находить: ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить — значит творить. Это есть борьба за духовную встречу; это есть свободное единение с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют “невозможного”.

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено; оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит; ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обессиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.

БЕЗ ЛЮБВИ

(Из письма к сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне: “О любви лучше не говорить: ее нет в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?”...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и сама им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери — потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него приветов, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чувствует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами, и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослою любовью к “ней” (или, соответственно, она к “нему”), то задача состоит в том, чтобы превратить это “пробуждение природы” в подлинное “посещение Божие” и принять его как свою судьбу. И не естественно ли ему любить своих детей тою любовью, которой он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь: это она “предпочитает”, “приемлет”, “прилепляется”, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар — увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать “да”, принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишённого этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная творческая сила человека.

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно, только приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества —

внешне-материального и внутренне-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью: уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них Великое — сродное — сопринадлежащее, вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданное из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, — было создано из созерцающего и поющего сердца.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, т.е. его духовную связь о родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей; а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть рожден любовью, он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру...

Вот почему я сказал, что ты “и прав и не прав”.

И еще: я понимаю твоё предложение “лучше о любви не говорить”. Это верно: надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по видимому, не решен, — что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно: того гляди “со согласишься” “на свою голову” — и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо: каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он “совершенно справедливо” относится к другим; но никак не хочет заметить, что все возмущаются его “справедливостью” и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, “справедливостей” столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения; они ведут к насилию и революции; а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании; и иногда бывает так, что самое слово “справедливость” встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако все это не компрометирует и не колеблет старую, благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравничеству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы “равны” и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться “одинаково”... Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми.

Если бы люди были действительно равны, т.е. одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать: “одинаковым людям — одинаковую долю”, или “всем всего поровну” — и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически; и все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как

равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне в внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство — или даже прямая слепота — приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья...

На самом деле люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они рождаются существами различного пола; они имеют от природы не одинаковый возраст, не равную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга и телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, не одинаково образованные, с разными привычками и талантами, — люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы: все они — различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди неравны от природы, неравны по своей силе и способности, неравны и по своему социальному положению; и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми; напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей — бесконечное множество; все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особенности? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как “воздать каждому свое” (по формуле римской юриспруденции)? Они не одинаковы; значит, и обходиться с ними надо не одинаково — согласно их своеобразию... Иначе возникнет несправедливость...

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно-обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь; это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые не-герой не должен претендовать. И так — во всем и всегда...

Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также живая совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое

трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души...

Вот почему справедливость есть начало художественное: она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним предметно. Она “внимательна”, “бережна”, “социальна”; она блюдет чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с “тактом”. Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна: она родится от сердца и есть живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти; ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравниванию. Безумно искать справедливости в революции; ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна; она враг справедливого неравенства; она не чтит “высших способностей” (Достоевский). А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека и призвание ее состоит в том, чтобы узнавать и беречь высшие способности...

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все или по крайней мере очень многие станут ее живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не “опредмечивает” (от слова “предмет”) жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам, “раз навсегда”, “для всех людей”, “повсюду”. Ибо она именно не “раз навсегда”, а живой поток индивидуальных отступлений. Она не “для всех людей”, а для каждого в особенности. Она не “повсюду”, а живет исключениями.

Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не “система”, а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое предметное неравенство.

Вот почему в жизни важнее всего не “найденная раз навсегда” справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренно желающее творческой справедливости; и еще — всеобщая уверенность, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни — условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, т.е. художественно-любовная, справедливость.

ЕГО НЕНАВИСТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что “он меня ненавидит”... Какое чувство собственного бессилия овладевает душой... Хочется не думать об этом; и это иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать; и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек, — знает он об этом или не знает, — есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидającego общения. И даже тогда, когда человек, по видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство, в душе возникает странное чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, “сгуститься” в отвращение и углубиться до ненависти, и причем совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чемнибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем, и лучи его мрачны и страшны, и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках, и мучается от того, что это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что “он” меня не переносит, что “он” с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что “он” провел черту разлуки между собою и мною, и считает эту черту знаком окончательного разрыва, по ту сторону черты — он в неутомимом зложелательстве, по сую сторону — я, ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный; а между нами — бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп; и вот встречает всякое жизненное проявление с моей стороны — убийственным “нет”. Этим “нет” насыщены все его лучи, направленные ко мне; а это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа — совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей — моего искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова: “нам на земле вдвоем нет места” [Слова Грушницкого. “Герой нашего времени”]... В общем и целом,— духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепящего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия; а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удастся, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах — их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я — ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту болезненную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить ее.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами; и действительно, совсем не легко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только “подарить мне жизнь” и примириться с моим существованием; он должен испытать радость от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. Ибо по слову великого православного мудреца, Серафима Саровского, “человек человеку — радость”...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко мне — превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны к взаимному уважению... Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого — искренне и любовно — добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: “Брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, примиришь с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие...” Именно с любовью, ибо простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями: от него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: он — потому, что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и я — потому, что я должен смотреть, как он из-за меня мучается; и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так: поддерживать вторую нить — от меня к нему, — крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть; что я не вменяю ему его вражду и злобу; что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить; что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью; и, главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро уgomониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе; это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей; то, что по этому поводу рассказывают о святых, — не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умиряюще и обезоруживающе; напряжение злобы рассеивается; злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира в гармонии. Все это не пустые слова: любовь заклиняет бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и даже врата адовы ей не препятствие.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной.

МОЯ ВИНА

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное — доказать не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что “я тут ни при чем” и что я несколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете — весь мир, но только не я: — враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, “среда” и “влияние”, небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом “не может быть никакого сомнения”...

Ах, эта предательская “потребность” в самооправдании... Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказательствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я “тут ни при чем”? Кто же требует от меня доказательств? Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым; что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила до галлюцинаций. Но я готов. Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве, И еще нужно смирение. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе “умнейшей” и “добрейшей” личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиболее благороднейшей стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать себя — перед собой и перед другими — всепредвидящим и неошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ “чистоты” и “величия” воссияет под моим именем? Кто из вас свободен от безупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что все люди, без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине, желанием и нежеланием, но также и безволием, и трусливым уклонением от волевого решения; деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским “умовением рук”; чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым бессмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира — непосредственно и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия; и посылаем в него свои “волны” или “лучи”, даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл — излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кашей Бессмертный недаром обдумывает своя коварные замыслы. Баба Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу. Сатанисты не бездельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет “виновных” и “невинных” людей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не знают об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются

очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это — носители мировой вины, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие — вечные беглецы, безнадежно “спасающиеся” от своей вины: ибо вина несется за ними натовдобие древней Эриннии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они стремятся доказать себе, что они сами “очень хороши” и “совершенно невиновны”, что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне — спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль — относительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде — где у меня недостает любви и прощения; везде — где я забываю о едином “пространстве” и общем “эфире” духа; везде — где я перестаю служить Богу и делать Его Дело или где я во всяком случае нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее, и главное, — вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее чувство ответственности, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сцеплений и отношений к другим людям. Медленно разворачивается передо мною ткань общественной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия, — и вот я начинаю постигать, что я в действительности “посылаю” в этот общий воздух и что я из него “получаю”. Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний — и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине; не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению, — потребность в этом все более исчезает во мне, — но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы его вина была моею. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую: — нести, т.е. преодолевать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это — верный путь...

О ЛИШЕНИЯХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и сказала: “Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память”... Вот было разочарование!.. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились... И вдруг — альбом. Какая скучища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: “Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без лишнего”... Да, хорошо ему было говорить: “не думай”... А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел; это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее... И потом еще много спустя... У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об изречения деда. Я и сейчас называю его “правилом счастья” или “законом оловянного солдата”. Кажется, тут замешана и сказка Андерсена: “Стойкий оловянный солдатик”: храбрый был малый — прошел через огонь и воду, и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушение и опасности; и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: они грозят лишениями. Потому, что так называемые “унижения” суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного “успеха”, без “почета” и без так называемой “славы”.

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, предметного успеха в жизни и от победы в жизненной борьбе. А если и хочу предметной победы, то я должен пренебрегать лишениями и презирать угрозы. То, что иногда называют “крепкими нервами”, есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто только грозит и даже не осуществляется, есть своего рода лишение, — лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен не бояться

лишений; мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или как бы выдержанный “экзамен на победу”. Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и “спокойствие”, тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему “ахиллесову пяту” и будет скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и поработан. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных “потерях”, “убытках”, унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни: в этом — подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, — есть духовное преодоление угроз и лишений. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. “Не хватает?” — “Пускай себе не хватает. Я обойдусь”... Нельзя терять священное и существенное в жизни: нельзя отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и поработать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая высшая, всё определяющая ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... Это есть священное и освящающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников...

И во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение — не на том, чего не хватает, чего он “лишен”, но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив и заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб [Срв. рассказ Чехова “Скрипка Ротшильда”]; вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы новую дверь, ведущую в духовные просторы; или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: “Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердца мое видит Господа и поет от радости...”

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: “В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно...” Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за “богатством” скрывается сущая

скудость, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений: они нужны ему, они могут привести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьяновой тетради, научившей меня когда-то “закону оловянного солдатика”, я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И ее — я не хотел бы лишиться в жизни...

МИРОВАЯ ПЫЛЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом, — ей все равно, взлетит и облепит путника, и он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда ни взглянешь — пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глубокой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устройства; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот, в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание; он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это

ему не удастся, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо нет у нее питающей почвы и нет органической сопринадлежности; ей остается только слоняться в безделки, томиться и бунтовать... Существо, отколотившееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастья: ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире, — уже не жертва “случая” и не дитя хаоса: он обретает свою личную свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире “мудрость”, которая пользуется и пылью как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством, — пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, — пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная “мудрость” не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерия, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей “экономии мира”: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание, — то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного “новообразования” организма, то в виде социальной революции или гражданской войны.

Такова великая “организационная” задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления, — счастья через свободное служение. Это не задача “мига” или “часа”, это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, “потерявшие голову” и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения, — протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнивание и порабощение...

...Однако великая проблема “пыли” имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во внутренней жизни человека имеется свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святые. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению

искусства, в котором все обосновано единою, главной идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом и его содержанием, так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства, то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования; — все эти несчастья, низменные и пустые “обстоятельства” жизни, которые желают иметь “вес” и “значение”, а на самом деле лишены всякой высшей сущности; — все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают, — все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь станет капризной, нечистой и нетворческой; наши поступки станут случайными, неверными, предательскими — и дух наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине “даром напрасным, даром случайным” (Пушкин); она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышление, условно “комбинирующее” относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и

омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

О ЩЕДРОСТИ

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево да и только, и с каким вкусом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тогда он приговаривал: “ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость”... — и улыбался счастливой улыбкой.

А значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он; с длинными белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерной значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем неверно. Кто так думает и чувствует, тот наверно проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас нелегко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как это ему удавалось?.. А это он и называл “искусством владения” — или щедростью.

Он был седьмым в своей семье, и притом младшим; одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: “изволь сам себе зарабатывать пропитание”. Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбой у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: “я от души это делаю, с любовью, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится”...

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его — “голубчик мой”. А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тягости с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гусярами все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про “искусство владения”? — Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал: “Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пеня в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали; обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас свое главное из глаз глядит, а у них глядела жадность”. Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал бывало рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение:

“Слушай, малыш, — говорил он мне не раз, — есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно — хитрое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть свободен; да не только от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь: мое имущество покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним: как бы оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его и все-таки однажды, хотя бы в час смертный, покинет его навсегда...”

“Вот я вырезаю по дереву. Это удастся мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость”.

“Или вот — на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет мною, а я владею скрипкой; вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту”.

“То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать вашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство; а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...”

“Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других людей; ее нужно взять самому, освободить свою душу. Если мне легко думать о моем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирюшка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать

со счета; где сердце заговорит — с радостью дарить, снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требовать возврата, если другому не вмоготу; и братски забывать о процентах. И главное, — слышишь, малыш, — никогда не трепетать за свое имущество: “Бог дал. Бог и взял, да будет благословенная воля Его”. Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство; а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства...”

“В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что имущество есть накопленный труд; а по моему, и труд и имущество от духа и для духа. А дух есть прежде всего — любовь. Поэтому у настоящего человека имущество есть запас сердца и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца — значит тяжелая судьба и дурной конец”.

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой: “Верный наш колодец” и “Не пой, соловушка” и еще много других; а я сижу счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил как настоящий мудрец...

О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. “Чего у меня нет, того чтобы и у других не было”. Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет; и редко кто умеет “прощать” другим их одаренность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу... Но если обойденный добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым, и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их “невыносимое” и “непростительное” преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то складывается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам — проповедникам безбожия, — старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за “освобождающую истину”, за “радостное благовестие”, словом — за новое откровение... Такое впечатление не случайно; оно исторически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим

людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой грусти и растерянности.

Таково приблизительно то чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно-слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, слепую и жестокою.

И вот в вас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины: мы — счастливы, он — несчастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив: эту лишенность он переживает как особое преимущество, как начало “новой” жизни и нового творчества, как знак “высшего призвания”, как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то в есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он — “просвещенный мыслитель”, а мы бродим во мраке, не то “обманутые”, не то “злостные обманщики”. Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом: он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром... И наконец проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое “откровение”: они считают нас отсталыми, “мракобесами”, рабами предрассудков и суеверий; они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам или “передумать” и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что приблизительно они говорят нам: “Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем. И это превосходно. Это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеете веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так чтобы на земле совсем не осталось верующих”...

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодование. Надо выступить в защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя “запретить” безбожникам их безбожие; запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их “просвещении”; что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своей силой и своим содержанием; и что никакого освобождения от этой свободы нам не нужно. Мы должны доказать, что их новое, мнимое “откровение” есть в действительности слепота, самообман и мрак; что оно не дает им никакого права на власть и ведет к гибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим все то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще иное, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни “фантазерами”, ни к “лицемерами”.

Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо лицемеры найдутся во и всех направлениях и течениях, и самое существование этих притворщиков не говорит ничего против Истины и против Предмета. Надо считаться только с искренними людьми и с честными с созерцателями.

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небывлицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к подлинно сущим реальностям; нам не надо их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения, а наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем земное так же, как и все здоровые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей, напр., Коперник, Бэкон, Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либиг, Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа-Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера Предметности, и они веровали в Бога; и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому, что их созерцающий опыт открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и великие объемы духа и его реальностей.

Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она зарождается в полноценном опыте и бывает всегда укоренена в предметном созерцании духа. Этот духовный опыт имеет дело с реальностями не чувственного (совесть) или не только чувственного (художество) или прямо сверхчувственного (религия) характера. Этот опыт не “мечта” и не “помешательство”. Он требует духовного трезвения и поддается духовной проверке. Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осуществляется в предметном восприятии и добывается полной и окончательной очевидности.

И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, — тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о красках дивной картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует или что этот цветок есть наша галлюцинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой музыки нет, что все это “выдумки лицемеров”?.. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглушим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о любви, как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве совестного акта, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благодати Божией и об искуплении... Как объяснить ему, что такое молитва? Как поверит он, что молитва бывает принята и услышана? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха и что ей дано преодолеть всякий страх? Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога освобождает душу и что проповедуемое им безбожие несет людям худшее в истории рабство — порабощение страстям, материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными реальностями, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов; и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священные начала жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недостижимой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только “по ту сторону” нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, “по сию сторону”. Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу. Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное, — всюду есть веяние Духа Божия: и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидательном труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему, — там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его телесным глазом, мы отвечаем: именно потому, что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком: и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим “пяти чувствам”.

Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывать человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бессердечною, бездуховною, жестокою тварью, бессильною в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способною ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным

предательством. История дала тому достаточно свидетельств; неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостовериться в том, что путь без Бога ведет к гибели... Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

О СТРАДАНИИ

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, — вспомни сейчас же, что ты не один страдаешь и что всякое страдание — всякое без исключения — имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. Все страдает и мучается — то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить... Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стелая в самом наслаждении, влачаясь в борении, в грусти и тоске, — живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния — рождения из материнского лона и кончая ее последним земным деянием, таинственным уходом “на покой”. Так страдает и человек вместе со всею остальной тварью — как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша судьба и с нею мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться страдать достойно и одухотворенно. В этом великая тайна жизни; а этом — искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей самостоятельности и беспомощности. Человек есть творение, призванное к “бытию в себе”, к самодеятельности и самоподдержанию; и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или “проходным двором”. С одной стороны, природа печется о нем как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им, как существом, единственным в своем роде; а с другой стороны, она населяет его такими противоположностями, она разворачивает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопределен к самостоятельному действию; но горе мне, если я уверю в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца... Я свободный дух; но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимым природе и ограниченным всеми невозможностями естества... Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты; но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссыкает при бессоннице... Я обособлен от других людей, замкнут в своей

душе и в своем теле и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы мы все, каждый из нас в отдельности — однодневные цветы, распутившиеся для страдания, мгновенные и незащитные вспышки вселенского огня...

“Жизнь ваша, смертные, сколь тленный дар богов:
Цветете миг один, живые исполины...”

(Илличевский).

Да и все ли “цветем”? Мы, вечные “пациенты” природы, покорные “приемники” мировых волн, чувствительнейшие органы сверхприроды... Что-то царственное и рабствующее; нечто от Бога и кое-что от червя (Державин). Так много. И так мало. Свободные — и связанные. Цель мира — и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания божественного искусства, отданные бактериям в пищу и чающие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание; вот почему мы должны примириться с ним. Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух, — тем более он обречен страданию, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех... И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стоня и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это “неожиданным”, “незаслуженным” и “бессмысленным”...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение — и постепенно, путями неопишуемыми, в почти не поддающихся оформлению интуициях, мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся закон существования, общий способ жизни, владеющий всей земной тварью, что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга — то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей... И может быть, именно Достоевский, этот мастер терзающего сердца, был призван пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?..

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал ей: “Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая телесная боль не поразит тебя. Ни грусть, ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи”.

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одновременно с голодом и жаждою, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность, — отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными и безнаказанными. Все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека. Исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскезу... Все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются — без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием — даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрочены, но скопились от воздержания...

Как описать те ужасные, опустошительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода “человекообразных” — порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета; ничего и никого не любящие — ибо любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные Лемуры. Вообразите их недифференцированные, невыразительные лица, эти плоские, низкие лбы, эти мертвые, мелкодонные гляделки вместо бывших глаз и очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижения ничего-не-вытесняющих полулюдей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не ведать страдания...

И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что дарует нам дар страдания; и хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания — нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какою глубиною светятся глаза страдающего человека! Как будто бы расступились стены, закрывавшие его дух, и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность... Как значительно, как тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека! Как элементарна, как непривлекательна улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания! Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание пробуждает дух человека, ведет его, образует, оформляет, очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания. Из него родится вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании: мы обязаны ему всем — и творчески великим, и творчески малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы соль жизни; нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того: страдание есть стремящая сила жизни; главный источник человеческого творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совершенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни; люди опомнились и обратились; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно, — знает он о том или не знает. Его влечет в великое лоно гармонии; его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, задуманному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами “посещение Божие”... Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не “обреченным” и не “проклятым”, но “взысканным”, “посещенным” и “призванным”: ему позволено страдать, дабы очиститься. И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли он очищения и гармонии в настоящей земной жизни, или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой: оно выражает это отпадение человека от природы, означая в то же время начало его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет “возвращение”. Избавление уже началось, оно уже в ходу; и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: “Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели”...

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством или обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит — принять его, как естественно и духовно-осмысленное явление. Ибо оно обращается к нам из целесообразности самого мира: то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит по крайней мере на одну треть, а иногда и на добрую половину из страха перед страданием.

Но не подобает делать человеку и обратное, т.е. нарочно или произвольно вызывать в себе страдание. Не правы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскопляют себя. Они не правы потому, что на них возлагается некая претрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесною болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на градусник, изгоняя ртуть кверху или прикладывая к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество — должны приходить сами, в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды — противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе — искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель (...), “через себя самого”. Мы призваны творчески жить и творчески любить; спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание; и — главное — творчески преображать и просветлять страдание, уже наступившее нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преобразению жизни, к просветлению души, оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять терпение или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен творчески воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана телесная боль, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то же время он должен настолько повисить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. Надо противопоставить плотской боли — духовную сосредоточенность и внимать не телесной муке, а духовным содержаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы все и знал бы все искусства: искусство одухотворять страдание есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь; но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверх чаяния сторицею.

Но если человеку послано душевное страдание, — а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, — то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его, т.е. найти в жизни время и досуг для того, чтобы предаться ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах, и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою больные наслаждения инстинкта), надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина; надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее

приказом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее силу в радость божественным содержанием жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чающим своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а благословение; в кем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений — некое богатство, борющееся за свое осуществление.

Если же человеком овладевает духовное томление, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую мировую скорбь и тем возвело страдающего к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении — скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть “благое иго” и “легкое бремя” (Мтф. 11, 30).

Вот почему апостол Иаков пишет: “Злостраждет ли кто из вас? пусть молится” (Иак. 5, 13). Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то “неизреченное воздыхание”, которым “Сам Дух ходатайствует за нас” (Римл. 8,26). Молитва есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе через мое страдание: она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может “за меня” или “вместо меня”, страдающего: все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом. Господь не может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии страдания. И именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.

О СМЕРТИ

Письмо первое

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии, и я готов изложить тебе моё понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть царит надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и моё видение, и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и включить её в свою жизнь. Такие времена обычно называются “тяжкими” и “страшными”, а в действительности это времена духовного испытания и обновления, — суровые, но благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему.

Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности неудавшаяся ни природе, ни родителям, — сделалась бы бессмертной, — и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а заполнить собою все времена. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный “огрех”, вечный недотеп... Что-то вроде фальшивого аккорда,

который будет звучать всегда... Или — несмываемое пятно земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы — в виде моей особы, и думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и наверное все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее — и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна — к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена... А смерть придет, как избавительница и исцелительница. Милостиво укроет меня своим покровом. Даст мне прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии.

И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни меру и форму. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния, — все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божие времена... Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час и “отрешит вола от плуга на последней борозде...” (Пушкин). Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает меру срока, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает форму — форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот главное: мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это — благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира, — природы, человеческого общения и культуры, — все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания — все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим началом жизни, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: “знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям — в любви, в служении, в созерцании и созидании — нет числа; не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?..

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать — что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искуc, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов которыми не стоит жить или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих различений и познаний — верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное: когда близится смерть, или когда по крайней мере тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся, — вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит свое верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тот час же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; второе оправдывается и подлинно освящается. И не то чтобы мы сами это производили; нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь проносится перед нашим духовным взором, как на молниеносном параде. И все что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, — все утверждается, как подлинная реальность, все возносится в сиянии, а все, что было мелко, ложно и пошло, — все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость, и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и сам начинает мечтать с том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитой “начерно” и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже “набело”. Мгновенно рождаются планы новой, чудной жизни и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провееана, и делает один из значительнейших выводов своей жизни: не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, — все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная, “мера всех вещей” или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать из всего одно

прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: “опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным”. Ее приближение делает наши слабые и близорукие глаза — зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака.

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность — могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостижимую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.

О БЕССМЕРТИИ

Письмо второе

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту “возможность” я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать с такими понятиями, как “смертность живого духа”. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в “последовательную”, но мертвую схоластику. Нереальные возможности суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них.

Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом “ничего не сказано” или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них — из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а “доказательство” станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы “горчичное зерно” этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему наверное можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.

При всем этом я имею в виду живой опыт нашего не материального, не телесного и притом именно духовного бытия.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое “здешнее”. Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сделать это, и притом через собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстоятельств верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, т.е. приобрести его, или (еще точнее) творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то, сколь бы живые свидетели ни рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникает сверхземной язык... И все это — в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело как за спасение. Мы принимаем его за наше “главное”, за наше настоящее существо, а оно есть только Богоданная “дверь”, вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта “дверь” отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет “безгласною, бездыханною” перстию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более “отвергать” наше тело: ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Богосозданной твари, всю значительность и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем: и пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ

Его мудрости, так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живую часть, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он открывается нам на время и потом будет отнят и закрыт: ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждения материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам открывается, — это наша собственная духовная личность.

Мое духовное Я открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его “мерою всех вещей”. Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи: это формы — духовной самостоятельности и свободы, это законы — духовного достоинства и ответственности, это пути — духовного очищения и самосовершенствования, это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия; и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа.

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается действенным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живою и творческою целокупностью. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилице, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот

сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: “Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным”.

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, — имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух — это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие... Какая жалкая попытка перенести самую брнную мысль земного мира — мысль о смерти — в сферу нетленных и непреходящих состояний духа...

Есть великий Художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и который донныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком — Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки — какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания — от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пенни и в живописании, изображением и изучением, — или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине великие и неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами; что мне было предоставлено жить и созревать к смерти...

А потом я буду отозван, так как если бы я созрел для этого отозвания и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все,

что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, — все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, — все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности: это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить ликуя все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю — в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неумогно Богу и в творении Его неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

О ТЕРПЕНИИ

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он “больше не может”: “жизнь так тягостна, так унижительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя”... Но время идет, оно приносит нам новые тягости и новые опасности, — и мы выносим их, мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия “невозможности” рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук и поле нашего зрения невелико: мы сами не обзираем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем; дивная способность, которую мы не укрепляем; великая сила личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура... Я разумею — духовное терпение.

Что случилось бы с нами, людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и уничтожениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность — его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских “стоятелей” и “терпеливцев”, утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое “да” и свое “нет” — силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать “отказы” жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся “нет” и приветливо встречать неприветливую “изнанку” земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное; мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны первые лишения... И первая боль нам кажется “незаслуженной”, и первое наказание — чрезмерно суровым... Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе жизненного стратега: спокойно предвидеть наступление “неприятеля” и твердо встречать его — с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями все новую и новую силу духа. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека так, что он станет слабее самого себя, то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдание “с поднятым забралом”. Это нелегко, этому надо учиться и научиться. Это удастся далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни; а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям; он “сладостлюбив” от природы и сам не замечает, как вождения и страсти овладевают его душой. С этим восстанием естественного сладостлюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его о себе, — утеха нужна всякой твари, человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не зависели от внешних обстоятельств — чтобы радость наша имела внутренние источники, чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силою воли; отчасти утешен новыми, иными радостями; он может быть подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком случае — утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть цветы, во всяком облаке есть красота, во всяком человеке есть своя глубина; о вечной тайне молчит природа, об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение с радостью ждут нас повсюду, нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться, как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений — и радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, надо научить его пускать мыльные пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо упражняться в терпении, надо ввести в жизнь состязание в терпеливости;

надо научиться терпеть легко. И пусть каждый из ваших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить — грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, — он не должен пугаться спозаранку, ибо заstraшенная душа теряет власть над собою. Страх возникает от воображения опасности или гибели; а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее заstraшивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем.

Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустранимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу: “пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит”... Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим, а малодушное словечко “я не выдержу” — совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею силою, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе — ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: “ах, я так страдаю” или “я не могу больше”, — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать; отказ: протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все — от мелкого, унижительного компромисса до последней низости: дело его кончено и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу... Или еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание осмыслится, и душа почувствует благодатную готовность терпеть до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути: юмор — в обращении к себе, и молитва — в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стонающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью и вся душа человека объединится и укрепится для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя как напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т.е. добиться того, чтобы наш дух перестал зависеть от него; мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни.

Терпение совсем не есть “пассивная слабость” или “тухая покорность”, как думают иные люди, напротив — оно есть напряженная активность духа. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать, оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; более того — оно есть сама победа, одоление слабости, лишения и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем: победа человека над своей тварностью и над всякими “жизненными обстоятельствами”. Терпение есть поистине “лестница совершенства”...

И кто присмотрится к человеческой истории — сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, — тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни; и потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из сверхчеловеческого источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать на земле великое и чудесное.

О СОВЕСТИ

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студеной зимней вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. “Идем, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в моей стране найдется и для тебя любящее сердце”...

Так проявляется совесть в человеческой душе, — часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносятся никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда

присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало — какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее “своею” и не включал ее в “себя”. Хочется сказать: “я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или постороннею мне я ее не ощущаю”. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась как ветер и буря... Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая “мечта” о земном совершенстве и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все “трезвые” соображения и “умные” расчеты; стихли все большие страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным... Да правда ли, что я Это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой — лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появятся еще раз? Или это все-таки был я сам?..

Я знаю одно и знаю твердо: тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то “нашло”, “захватило” меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка — у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть; а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось — чтобы он, этот “лучший” и “большой”, явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы — не связывают его больше; все это отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек перестает быть “личным” и вдруг становится “предметным” в лучшем и священной смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою “личность” и делается “безличным”. Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждениям и содержаниям Царства Божия, объективной реальности — тому, что можно обозначить строгим словом “субстанциальности”, или целомудренным словом “предметности”, Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного Дела, т.е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья “отвалились” у него и как

если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности... Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: это расхождение между нашими лично-эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение — окончательно и всецело отдаться Божьему Делу — всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и того же: самого лучшего. И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе; мы слышим этот голос и не слушаемся его, а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше “повиновение” совести как опасное жизненное “предприятие” или даже “приключение”, как неблагоприятную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, след., как тягостное бремя жизни... Если же мы не повинемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается отверженной ему; но внутреннее раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, — поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит ему место в глубоком подzemелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; но это несколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать; но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля; и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу; и не мог иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом — мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что “это мой долг”, а потому, что это есть “объективно лучшее”, к чему зовет меня мой дух (совесть) и к чему прилепляется любовью и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души.

Пока я еще не знаю, что такое “совесть” и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении: “да разве это вообще возможно? разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения?”... Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, — обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают; нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его в действительности. Правда, я не

знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать — воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это будет происходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт словооблеченного мышления, он не теория, не доктрина, не “максима”, не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться к какому-то “всеобщему законодательству”. Не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы “полезнее” всего или “целесообразнее” всего; эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о “приятном”, “удобном”, “выгодном”, “умном” и т. п.; все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно-лучшего в притом не “лучшего по-моему”, а “лучшего на самом деле”. Верующий христианин спросит о “христиански-лучшем”, о “совершенном перед лицом Христа Спасителя”.

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать; это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически-жизненный случай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае.

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, “условий”, уклонений и “резерваций” я встану таким, каков я есмь, перед лицом совести: с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, “сейчас” и “здесь” — внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца; я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается и... королевская мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым; и склонился ко мне, облакая меня своею Ризою как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.

ЧТО ЕСТЬ ОПТИМИЗМ?

Вот что необходимо современному человечеству — как воздух, как вода и огонь — это здоровый, творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль, мы должны хотеть верного и притом желать сильную волею; и в довершение всего — мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с

достоинством и спокойствием и в то же время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении.

И для этого нам необходим духовно-верный оптимизм.

Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть “в хорошем настроении”, мало “не предвидеть ничего дурного”. Легкомысленный весельчак всегда “в хорошем настроении”, а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей; самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к “спокойствию” во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья; он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом.

Итак, есть ложный оптимизм и духовно верный оптимизм.

Ложный “оптимист” хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его “оптимизм” не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он “оптимист” только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его “оптимизм” касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершении он видит мало, а может быть, даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен; он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих. И потому его “оптимизм” — физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметно и метафизически не обоснован; и ответственности за него он не принимает. Его “оптимизм” есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости; он может привести к сущим нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это несколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом и что поэтому она разворачивается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма: он знает, что мир пребывает в руке Божией, и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только — понять ее, но добровольно поставить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной Руки (“да будет воля Твоя”). Он желает “содействовать” Божьему делу и плану, он стремится служить и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответствует воле Божией, Его замыслу. Его идее... Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, живая ткань Царствия Божия; он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живую нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство, потому что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение.

Узнав свое место в замысле Божиим и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание — исполнить свой “оптимизм”; и если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. Он расценивает себя как нить в Божией Руке; он знает, что эта нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно “наступает на Аспида и на Василиска”, “на змия и скорпия” — и остается невредимым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более чем одна из земных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, — там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддаваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуются от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому Делу, которому он служит, и питающий внутреннюю струю своей жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий, — столь давно и безнадежно искомое “духовное *perpetuum mobile*”...

Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божиим и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего Дела, хотя бы эта победа казалась временами “его личным поражением”, ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни — к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему и он продолжает свое служение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть только одно истинное “счастье” на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все; почти, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерти, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель.

И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным “счастьем”, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным, тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь и что человек приобщился новому бытию.

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то было в самом деле ни более как отсвет его или слабое предчувствие; а у многих и того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина, — чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край; оно начинает петь, и когда ему это удастся, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удастся только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она становится алчною и исключительною, требовательною и слепую, завистливою и ревнивою. А поющее сердце, напротив, бывает — благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разочаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли — и не понимает своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира.

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает в себе доступ к божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется и поет; и светит из той глубины, где человечески личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает из Божиих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злему человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячей силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со священной и ненасытною жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое остается всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь; оно

воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток — “нектар” и некое божественное кушанье — “амброзия”. И вот, в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих “искр живого совершенства”, как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и побораая, призывая, светя, духовно оформляя душу и переключаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа — в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве, — ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его благодати, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни...

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки — порхали, кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце; — и я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудный мир света и тени, живого общения и радостного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений; — я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви — и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала высились, как суровая стража; благоговейно молчали и люди и птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря, — и солнце и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует наворачивающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу.

Сердце ваше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню; когда мы сквозь мелодии земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующие ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира; когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем вселенную как гармоническую целокупность; когда человеческая история являет нам сокровенную тайну Провидения и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения; когда мы присутствуем при победе великого и правого дела...

Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы...

А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо, по истине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает — ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те “великие” события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...

Нам надо увидеть, и признать, и убедиться к том, что именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира; и что человек с поющим сердцем есть остров Божий — Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно уже прижизненно вырастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божиим.